

**Сергей Николаевич Сергеев-  
Ценский**

**Медвежонок**

**Москва  
Книга по Требованию**

УДК 82-3  
ББК 84

**Сергей Николаевич Сергеев-Ценский**

Медвежонок / Сергей Николаевич Сергеев-Ценский – М.: Книга по Требованию, 2011. – 36 с.

**ISBN 978-5-4241-3078-6**

Стиль Сергеева-Ценского отличает яркая образность; его описания природы, изображения характеров и батальные сцены богаты сравнениями и метафорами

**ISBN 978-5-4241-3078-6**

© Издание на русском языке, оформление, «  
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «  
Книга по Требованию», 2011

Сергеев-Ценский Сергей  
Медвежонок



Сергей Николаевич Сергеев-Ценский

Медвежонок

Поэма

I

Сибирь - большая; едешь-едешь по ней - день, два, неделю, полмесяца без передышки, без останова, - фу ты, пропасть: такая уйма земли - и вся пустая. Вылезет откуда-то из лесу десяток баб с жареными поросятами в деревянных мигах; посмотрит на поезд спокойный обросший человек в красной фуражке; просвистит, как везде, кондуктор, соберет третий звонок пассажиров, разбежавшихся за кипятком, - и тронулись дальше, и опять пустые леса с обгорелым желтым ельником около линии, потом опять станция, бабы с поросятами, человек в красной фуражке, кипяток, и никак нельзя запомнить архитектуры этих маленьких станций на пустырях, так они какие-то неуловимые: постройка и только.

Если бы был я бродягой, я смотрел бы на эти таежные пустыри с восторгом: экая девственная ширь! Но я больше степенный хозяин, чем бродяга; вот идет поезд мимо парня в красной рубахе, прикорнувшего на армяке у костра; парень спит, а ветер погнал уже огонь по сушняку в ельник, и пылают уж мелкие елки, и дымит палая хвоя, пойдет в глубь тайги затяжной пожар кто его здесь остановит? Каюсь, огромного леса мне хозяйственно жаль, плохой я бродяга. Если бы был я поэтом, воспел бы я сочные верхушки кедров, разбежавшихся с разгону в небо, ясные желтые вечерние зори, туманные утра, ширину быстроводных рек и многое еще. Но я прозаик, возвышенный стиль мне не знаком, тянет меня к жилью, к яичнице, к самовару... лучше я расскажу об одном медвежонке.

На базар в городишко Аинск приехал с поселка Княжое чалдон Андрей Силин - продавал чеснок, репу, клетку уток и медвежонка. На базар же вышел с поваром Мордкиным и денщиком Хабибулиным командир стоявшего в Аинске восьмилотного полка полковник Алпатов: любил хорошо поесть, - покупал иногда сам провизию на привозе; здесь они и встретились - Алпатов и медвежонок.

Андрей Силин был белесый мужик лет тридцати, не особенно высок, но что-то уж очень широк в плечах, - перли в стороны плечи, напруживши кругло старый армяк, и лапы были кротовьи, плоские, прочные, с черными твердейшими ногтями, с желтыми мозолями, круглоты в пятак, с заструпелыми морозными трещинами на суставах; а Алпатов был крупный, бородатый, лет пятидесяти трех, с красной толстой шеей и кровавыми щеками; говорил со всеми так, точно всеми командовал: сердитым тяжелым басом, отрывисто тыкал, пучил глаза. Медвежонок не сразу заметил.

- Утки... м-м... почему утки? Любезный, ты-ы! тебе говорю, ты-ы!

- Я ведь слышу.

- Отвечать нужно сразу, а не в носу ковырять!.. Отчего чесноком от тебя прет, ты-ы?

- Да вон в чувале чеснок.

- Ты и привез даже? Вот дурак.

- Зачем дурак? Это я, кому надо, для колбас. Огурцы вот теперь солить без чесноку как? Чесноком живем. Всякая птичка своим носиком кормится. У нас с братьями чесноку-то, почитай, что две десятины. В дальние места отправку делаем, - чесноком не шути: по восемь рублей тыщу покупают.

В сердитую бороду Алпатова глядел Андрей, улыбаясь щелками глаз:

- Хочешь утков взять - бери утков. Стоют они почему? Стоят они - пару пустяков.

Снял с воза клетушку утиную Андрей, а когда снял, обнаружился на возу медвежонок. Лежал он, пушистый, желтовато-дымчатый, уткнувши морду в передние лапы, спал, должно быть, и вот разбудили. Зевнул глубоко, вывалив острый язык, почесался жестоко за левым ухом, фыркнул, поглядел на Алпатова зелеными дремучими глазами, почесался, скорчившись смешно, еще и за правым ухом, встряхнулся, привстал.

- Ах ты, зверюк! - повеселел вдруг Алпатов. - Продаешь? - спросил Силина.

- Пошто не продать? - ответил Силин. - На то привез - продать.

Потрепал медвежонок по загривку Алпатов; медвежонок, играя, отмахнулся лапой, ворчнул даже.

- Веселый! - сказал Алпатов.

- А как же: малой.

И Хабибулин, круглолицый башкир, с огромной корзиной в руках, подошел к телеге, осмотрел звереныша и доложил, сияя, Алпатову:

- Мальчик!

- Кобелек, - подтвердил Андрей. - Кобельки - они не злые, ничего.

Опять зачесался свирепо медвежонок.

- Блох! - сказал Хабибулин сияя.

- Блошист, - подтвердил Андрей. - Искупаешь - ничего. Казанским мылом вымой - повыскачат.

- Ты-ы вот что, любезный, - в носу нечего ковырять, а говори толком: если... - Алпатов обвел грозными глазами Андрея Силина, уток, желтую горку репы и весь базар и строго докончил: - Если все, то сколько?

- Стало быть, и утков?

- Дурак, - сказал Алпатов.

- И, значит, репу?

- Еще раз - дурак.

- Чесноку сотня пучков...

- Чеснок - к черту!.. Э-э... бестолочь, братец! В солдатах служил?

- Не... братья служили.

- Вот потому дурак.

Через четверть часа договорились. По широкой мягкой улице повез свое добро Андрей к дому Алпатова, а Алпатов пошел в рыбный ряд за омулями.

Когда, лет двадцать назад, приехал сюда на службу из России Алпатов и узнал, что у командира полка одиннадцать человек детей, он говорил молоденькой жене, Руфине Петровне:

- Руфа, представь (испуганно) - одиннадцать!

- Черт знает что! - отозвалась Руфа.

- Одиннадцать! Нет, как тебе покажется, а? (Возмущенно.) Одиннадцать!

- Черт знает что! Какие же? Мальчики? Девочки?

- Разные... И мальчики и девочки. Нет, подумай (насмешливо): одиннадцать!

- Черт знает что!

Теперь у самого Алпатова было девять человек - и мальчики и девочки, и Руфина Петровна ходила тяжелая десятым, а еще не было ей и сорока лет.

Сибирь - большая, богатая: сто рублей - не деньги, триста верст - не расстояние. Жили плотно, хозяйственно, не торопясь; рожали детей, питали, заселяли пустыри, насколько были в силах.

Поезд в полях - июнь, жара, - кто встречает его с зеленой трубочкой флага у затерянной в глуши будки? Сторожиха, худошечкая, корявая, черная от солнца баба и, конечно, с высоким животом. Поезд в лесах на севере, где дороги мостят плотами из бревен, осень, туман, непролазная дичь, и опять то здесь, то там - будка, "свободен путь", и опять вздутый бабий живот храбро торчит, раздвинув полы полушубка; и в пустых Закаспийских степях, в феврале, и в мае, и в октябре, вечно стоит на посту этот высоко торчащий живот и зеленый флажок над ним: путь свободен. Так из года в год, сами вызывая к жизни жизнь, заполняются пустые просторы.

Сидел на кухне Андрей, пил чай, рассказывал Алпатову, откуда взялся медвежонек.

- Была у нас пара лошадей - Соловой да Серый. До чего дружны были страсть: с жеребят в паре. В луга, летнее дело, пустишь - вон какие спины наедят - желоба!.. Случись раз - в этом месяце, в августе - задрал Михал Иваныч Серого, а Соловой улег. А мы - нас четыре брата - хорошо это дело не разглядели, - может, жиган какой увел, летнее дело - шпана бродяжит... Солового беречь бы, а он тоскует без Серого, не ест, тоскует, голос подает... Со скуки так и ушел, на то же самое место улег; задрал и его, стало быть, Михал Иваныч. Тут уж мы их разыскали обеих: здесь Серый, какая остача, лежит, здесь подальше Соловой, мошки на нем - туча... Жалость взяла. А нас четыре брата: Пармен, Силантий и, значит, Иван еще, да я... Сердце взяло!.. Топоры брали, так умом-то думаем: он еще на то место прибудет, может, еще ему кака лошадка... Ждем. Так к утру дело - фырчит, лезет. А у Ивана ружьишко было - дрянковато, на рябцов когда, дробовое... Он его лясь дробью!.. Как выходил, стало быть, на полянку эту, - он его лясь!

- Так что же он его дробью с дальней дистанции, какой же смысл в этом? Вот дурак.

- Нет, он не то дурак, а это, чтобы озлить: он бы человека учуял, гляди, опять задним ходом в дебрь - ищи его. Вот хорошо. Михал Иваныч наш на задние лапы вскочил, в рев, на нас целиком, головой мотает, - в голову он его, Иван, а мы с топорами. Иван опять все поперед всех: поперек лапы передней топором его - лясь!.. Ему бы отбечь посла, а он норовил его, стало быть, по другой лапе... Кэ-эк сгрел его, Ивана, лапой этой за плечо, значит, сгрел, а Пармен у нас до чего здоров! Осерчал: бросай, ребята, топоры, мы его голыми руками задавим! Топор, оголтелый, положил, кэ-эк уцопит это место за шею - нет, врешь! Нет, брат, врешь, стало быть!.. Михал Иваныч туды-сюды головой, туды-сюды мотает, а лапами орудовать если - ему нельзя и дыхания нет, и Пармен уперся это быком, с лица весь кровью залился, а Силантий смотрит - язык без пути болтается, он его, Михал Иваныча, за язык - так и вырвал... Я уж в это дело не встревал - вдвоем задавили. Я только Пармена не послушал, топором по боку два раза, как у него самый окорок игде - туда. Поранить нас всех поранил: Ивану - ну, это уж он сам бестолков, - ему он плечу повреждение сделал, ну, ничего; Силантий, опять, обкляк напоролся; Пармену он клоком волос с кожей содрал - ничего, зажило; а мне вот так когтем по ноге - пимы на мне были, - сквозь пимы черебнул. Так уж нас

и звать стали: Деримедведи; всё были Силин да Силин, а теперь уж нам и названия другого нет: Деримедведь. Не то что, стало быть, он нас задрал, а что мы его задрали.

- Ну, ты это что мне заливаешь? Дурак. Хороший медведь так не дастся, дудки!

- Медведиха... Медвежонок откуда же? От ей. Другой был, - с сердцов его Пармен ногой затоптал. А этого уж я не дал. Я его молоком из мисы поил, думаешь как? Он молошный.

- Какая же в тебе такая сила? - не поверил Алпатов. - Ну-ка, на, бери кочергу.

- Я не об том, что у меня сила: братья здоровы... Я так себе, я проти их заморыш.

- Садись на пол.

- В перетяги? - спросил Андрей. - Я ведь не об себе... - Поплевал на руки, ухмыльнулся.

Уперлись они с полковником нога в ногу; не успел крикнуть полковник, как поднял его с полу Андрей.

Осерчал Алпатов.

- Ты-ы, дурак, срываю! Зачем срываю?.. И взятыя мне дай.

- Тут не в том дело - срываю; тут в чижельстве дело, - усмехнулся Андрей. - Выхожу я пуда на двое легче и то сижу.

Опять уперлись нога в ногу. Потянул Алпатов - ни с места Андрей, потянул Андрей - повалился на него Алпатов.

Повар Мордкин кашлянул в кулак и отвернулся, Хабибулин цокнул и покругил головою, а Андрей взял кочергу под мышку:

- Вот, как клюки не жалко, я из нее фертик сделаю, жалаешь?

Перегнул ее в дугу, связал в узел и концы закудрявил.

- Вот и фертик... Ведь как-никак из тайги домой по двенадцать пудов чувалы с орехами таскаем... Как это тебе?.. Шуточки?..

Любил силу Алпатов. Усадил его еще и обедать, напоил водкой. Хабибулин при нем вымыл в корыте медвежонок в теплой воде с казанским мылом. И Руфина Петровна, прочная в кости дама, снисходительно смеялась над ним: так забавен был мокрый, головастый, отбивающийся лапами, по-ребячьи фыркающий звереныш. Приказала только обрезать ему когти покороче. Обрезали. Заспорили со всех сторон дети, чей будет медвежонок: семилетнему Мите, восьмилетней Оле, и Наде, и Пете, и Виктору-кадету, и пуще всех малышам - Ване и Варе - всем хотелось присвоить медвежонок. Решил Алпатов, что будет он божий. Назвали его коротко - Миш.

## II

Я далек от мысли рисовать сложную жизнь алпатовского двора, где поселился в новой березовой конуре медвежонок. Двор был обширный, обнесенный плотным забором, утопанный крепко, обставленный птичниками, конюшней, коровником, каретным сараем; на всем этом легли тяжело слоенные крыши из розовых новых сосновых обапол, скребли куры - лонгшаны, важничали тулузские гуси, крикали утки - белые с красными мозолями над клювом, болмотали индюки белые и серые, - много скопилось крикливого земного добра. И собаки были: Шарик, Куций, Барсук, Лягаш, Джек и Мэри; и было где кучеру Флегонту про-

водить пару дышловых лошадей, не особенно породистых, но рослых, дюжих и подобранных тщательно под масть - вороных, белокопытных; два белых копыта у одного, три у другого.

Иногда появлялся из дома кот Повалюнушка, серый огромный, туземный кот - тринадцати фунтов весом. Староват был - все больше спал: подсунут ему мягкую подушку, и дрыхнет котище, положив круглую голову на лапу. Но иногда, когда солнышко, тепло, воробьиный гам, важно выходил промяться, шипел и фыркал на собак, и когда отставали, усаживался на крыше и озирает все кругом весте и ммуро.

Джек и Мэри были старые болонки со смышленными мордами, обе белые, с черными глазенками. Лаяли звонко, но с достоинством, незаметно усвоенным от Руфины Петровны, и ровно столько лаяли, сколько нужно было: постигли такт. Везде шныряли бойко, ко всему принохивались, приглядывались деловито - были как ретивые ключник и экономка. Ежегодно приносила Мэри белых курчавых щенят, и раздаривала их Руфина Петровна сначала полковым дамам, потом посторонним: по всему Аинску завелись белые болонки.

На Барсуке, приземистом жилистом псе серой шерсти, катались Ваня и Варя: была колясочка и сани с веселыми красными разводами; с Лягашом, глуповатой желтой вислоухой собакой, ходил поблизости в тайгу на охоту Виктор-кадет; а Шарик и Куцый были без особого назначения дворняги, и один от другого отличались только длиною хвостов.

Медвежонка, когда появился он на дворе, осели было - заступились дети, Хабибулин и сам Алпатов; отстали. А медвежонок малый, осмотревшись, устроился важно, тепло и хозяйственно, точно и отцы его и деды век свой прожили в березовой конуре. По двору прошелся не спеша, на все поднимая свой внимательный черный пяточок, кое-что потрогал лапой. На кучера Флегонта, сурового солдата из сибирских молокан, посмотрел беспомощными щенячьими зелеными глазами, и Флегонт, пынявший сапогом собак, потрепал его по пушистой холке любя и угостил хлебом.

Черных котов боялся Флегонт, потому что лошади его были вороные.

- Лошадь загубить ничего не стоит! - говорил он повару Мордкину. Посади только ей кота на спину, - какой масти лошадь, такой чтобы и кот, и чтобы ночью, - вот-те и все. На кога не смотри, что тихий, - он свое дело знает. Чтoб только посидел поплотней, не спрыгнул, так минуты три - вот-те и все. Из какой такой причины лошадь послая этого от еды, от пойма отобьет отобьет и все. Ни за что изойдет, ни работы от нее, ни удовольствия, ничего больше не жди... Брат ты мой! это дело нам очень хорошо известно, хоть цыгана какого спроси.

Повар Мордкин был спокойный, сытый, белый и ленивый, как все повара.

- Ничего нет мудреного, - говорил Мордкин.

### III

Дом Алпатовых был одноэтажный, деревянный, как все дома в Аинске, но теплый и такой удобный.

Было три детских - розовая, синяя, желтая, а в них - чучело матерого волка, на котором катались верхом, усиленно двигаясь, пришпоривая и крича и хлеща арапником - просмыгали густую шерсть вплоть до самой кожи; барсова шкура с зубатой глазастой головою, лапами и хвостом, - надевали, чтобы пугать друг друга; валялись везде трещотки, рожки, литавры, заводные барабанчики, бубны,

свистушки... шумно жила крепкоухая молодежь. И широкозадая, низенькая, совсем круглая, белоглазая нянька Пелагея каждый день по вечерам настойчиво приводила здесь все в порядок.

Начиная с Виктора-кадета, Пелагея подняла всех девятерых детей Алпатова, десятого спокойно ждала подымать. Сама уж стала алпатовкой, так разучилась отличать себя и чувствовать отдельно от дома, и была положительно величава в своем неоспоримо уверенном "так, а не этак".

Когда раз поехала по железной дороге куда-то поблизости Руфина Петровна с Петей, который был тогда грудной, то на первой же остановке выскочила Пелагея мыть внизу в ручье Петины пеленки.

- Куда ты? Куда ты?.. Назад! - кричала Руфина Петровна.

- Ничего, барыня, помою - нельзя.

- Садись, не выдумывай - поезд сейчас пойдет!

- Подождет, ничего.

- Садись - останешься: второй звонок!..

Звенел второй, за ним тут же третий, - влезая тяжело на лесенку, недоуменно ворчала Пелагея:

- Какие деньги плочены, да не подождет.. Вот дивно! И нешто же мы им простые?

На сон грядущий говорила детям протяжно про колдунов и ведьм, и сказала раз семилетняя Оля:

- Ах, если б их всех-всех на свете не было, колдунов и ведьмов, вот хорошо бы!

- Что ж хорошего? - ответила Пелагея. - Слова нет - хорошо, только это перед концом света будет.

- А после что будет?

- А после конца-то тогда уж одни святые люди будут.

- Чем они святые?

- Так они свято жить будут, без гнева.

- А солдаты тогда будут?

- Нет, ничего этого не будет.

- А... а... вот... чибрики тогда будут? (Очень любила чибрики из сладкого творога.)

- Да ведь они бестелесные будут, святые-то... А питаться будут манной; бог посылать будет.

- А ты до этого доживешь?

- И-и, где мне, да и вы все не доживете.

- Вот хорошо как! И не надо, не надо! Вот хорошо.

Радостно прыгала и била в ладоши и обнимала няньку. Но лампадки ночью перед иконами благостно сияли во всех детских, розовая - в розовой, синяя в синей, желтая - в желтой, и от этого иконы были лучисты, таинственны, ласковы и красивы: святые.

В гостиной мебель была церемонная, чинная, исключительно для дам; мужчины же косились на нее недоверчиво, слегка пробовали руками спинки из бархата, помпончиков и штофа и отходили, покашливая и кряхтя.

- Садитесь, пожалуйста, что же вы стоите! - упрашивала Руфина Петровна.

- Насиделись и дома, - кланялись гости, - только и делаем что сидим.

Тут на полу были густые ковры, а по углам японские веера и цветные фонарики; в столовой же висели картинки из охотничьей жизни, резные из дерева зайцы головами вниз, черные лебяжьи лапы и еще многое, что должно было возбуждать аппетит. Над огромным прочнейшим столом здесь висела добродушная широкая лампа с хрустальными висюльками в виде четырех связанных лир. В уголку одной лиры зияла щербина: это капитан Кветницкий, когда обмывал у себя Алпатов орден Владимира 4-й степени, поднял за него бокал.

Иногда, больше в будни, когда не было гостей, в столовой обедали и дети, но в кабинет отца, где стояла гордость Алпатова - по случаю купленная старинная мебель из мореного дуба, - дети заходили редко, урывками, как мыши, и тут, подымаясь на цыпочки, разглядывали два шкафа: один с уставами, с томами "Разведчика", "Инвалида", "Свода военных постановлений", с важными бумагами в синих папках и другой - с зеленым от старости медным шлемом, зубами мамонта, найденными в подмытом берегу речки Тептюги, рапирами, бердышами и полдюжиной уродливых китайских богов.

#### IV

Аинск от железной дороги стоял верстах в семи; кажется, тем только он и был замечателен, что стоял так близко от дороги. Прежде, когда "тайга гремела", сюда приезжали прокучивать золото, но отгремела тайга. Прежде по речке Тептюге ловили здесь много рыбы, били выдру, сводили лес и сплавливали. Но отловилась рыба, перевелась выдра, сильно поредели таежные делянки, хотя лесопилки и повизгивали еще кое-где. И если чем жив был этот городишко, то только полком.

Небольшой, но дружный полк пророс здесь во все стороны, всюду пустил корни, все переслоил, перевязал, переродился, перекумился - одна семья. С полком слиты были все здешние радости и надежды. Казалось, только вырви отсюда полк - и тут же капут городишке: распадется, как комок сухозему, и перестанет быть.

И потому-то крупнее всего, что было здесь, был Алпатов, и нравилось всем, что он такой уверенный, выпуклый, важный, неторопливый и свой.

А ему год за годом примелькались тут все, и каждый крутился перед ним в особицу со своим обликом и именем, потому что был он прост со всеми, любил спрашивать, и память была на имена.

Даже Машку Бубнову, невоздержную девку, мать четверых малых ребят, знал Алпатов, и когда подходила она к нему на улице, часто кланяясь, и говорила певучей скороговоркой: "И-и, конца краю нет мучениям! Совсем я, ваше благородие, на нишшем полозу!.. На житье сиротское, на ребят моих солдатových, на наши картины туманные приходи только посмотреть..." - и подносила фартук к глазам, Алпатов медленно давал ей двугривенный и говорил: "Иди с богом".

В айнском клубе, и основателем которого и несколько лет членом был Алпатов, повесили на почетном месте его портрет, писанный с карточки местным живописцем Аверьяном Собачкиным, который божился даже, что за пятнадцать рублей масляными красками лучше сделать нельзя. И когда город решил на одной грязной площади разбить общественный сад, Алпатов посылал солдат копать ямы, посылал с артелками в тайгу за молодым березняком и ельником, сам вымеривал шагами и разбивал дорожки, сам обрезал корни, - столько хлопотал над этим садом, что аинцы и самый сад называли Алпатовским садом.

Казначейство в Аинске стояло мрачное, с облупившейся штукатуркой, с выбитыми стеклами вверху, в архиве, бесчисленных сизых голубей ничем нельзя было убедить, что это не для них, а казначейство. Но женская прогимназия была и того хуже: старый, осевший деревянный дом с тесовой крышей, гнилой и дырявой; и даже мох на крыше был древен годами; молодой мох ярок, зелен, весел и, как все молодое, приятен для глаза, а пожилой нехорош: шершавый, жухлый, стертый, местами седой и - если не приглядеться к нему, а взглянуть сразу - даже как будто страшный.

И учителя попадались странные: то анекдотисты, то пьяницы, то сутяги, а один до того ясно представил, что воздух классов ему смертельно вреден, что никогда не заходил ни в один класс, стоял закутанный в шубу около форточки на улице или на дворе и явственно диктовал отсюда: "Ягненок... в жаркий день... зашел..." - или спрашивал, что такое залог.

Но так сильно хотелось аинцам видеть около себя необычное, громкое, далекое, что именно этого подфорточного учителя и считали под шумок светилом науки, говорили даже, что это бывший профессор, пострадавший за убеждения, и что у себя дома по целым ночам, не разгибаясь, пишет он какой-то огромный труд.

И исправник здесь был не просто исправник, а сочинитель проектов, и известен был один проект его - как сберечь бродячих тунгусов от вырождения: нужно было собрать комиссию из представителей министерств - внутренних дел, просвещения, юстиции, финансов, миссионера, податного инспектора, воинского начальника и других; отправить комиссию изучать условия жизни тунгусов; дать ей на прогоны десять тысяч; и тунгусы были бы спасены, но проект этот не был принят.

По субботам парились здесь в банях Брѣхова, где были даже номера, но такие холодные, что годились только для лета, и подозрительная баба, сидевшая за кассою, если спрашивал у нее кто-нибудь простыню, говорила:

- Простыню нате, но, однако, сапоги вытирать простыней этой у нас нельзя... А то один тоже такой сапоги свои грязные вытирал, и с таким это усердием, - так мы до белого и не домылись.

По воскресеньям мешане здешние, разодетые в оттопыренно-хрустяще-новое, гуляли по тротуару из четырех досок, положенных иждивением купца Мигунова против своего магазина и еще на три аршина дальше, как хватило досок: махнул рукою, не отрезал - пользуйтесь.

И до того было мало и тесно это место гуляний, что вполне правильно называлось оно аинцами "Пятачком".

Но главное, что делали в Аинске, - это ходили в гости. Может быть, есть люди, - наверное, есть, - для которых это труднейшая и скучнейшая повинность: гости; в Аинске не было таких. Приходили и говорили: "Сыграем?.." Пытались жить этак до тридцати лет, а потом только "вспоминали из жизни". Дамы здесь очень любили лото и стучолку, мужчины - преферанс и винт, молодежь - веревочку и почту. Кому принимать гостей, блюли очередь, но гостям на всякий случай напоминали записками накануне - так требовал обычай, - и ходили по нужным домам денщики или стряпухи с общей кучей записок, выкладывали их на стол и говорили, вытираясь:

- Вот, выберите свою туг, какая вам.